

НАСЛЕДИЕ

Лев ШЕСТОВ

Киркегард — религиозный философ *

IV

Мы говорили о вере Авраама. Авраам решился на дело, потрясающее человеческое воображение: занес нож над единственным сыном, над своей надеждой, над отрадой старости. Нужны, конечно, огромные силы для этого: недаром и сам Киркегард сказал, что Авраам отстранил этическое. Авраам верил. Во что он верил? «Даже в то мгновение,— пишет Киркегард,—когда нож блеснул в его руках, Авраам верил, что Бог не потребует от него Исаака. Пойдем дальше. Допустим, что он действительно заклал Исаака — Авраам верил. Он верил не в то, что где-нибудь в ином мире он найдет блаженство (как учит основанная на нашем разуме этика). Нет, здесь, в этом мире,—подчеркивает Киркегард,— он будет еще счастлив. Бог может дать ему другого Исаака. Бог может вернуть к жизни закланного сына. Авраам верил в силу Абсурда: человеческий расчет для него давно кончился». И чтоб рассеять всякие сомнения, как он понимал веру Авраама и смысл его поступка, он и собственное дело приобщает к библейскому повествованию. Разумеется делает это он не прямо и не открыто. О таких вещах люди не говорят открыто, а Киркегард и подавно: для этого он и придумал свои не прямые высказывания. При случае между прочим, он нам скажет: «что такое для человека его Исаак, это каждый решает сам и для себя», но смысл и конкретное значение этих слов можно разгадать только, прослушав выдуманный им рассказ о бедном юноше, полюбившем царскую дочь. Для всех совершенно очевидно, что юноше не видать царевны, как своих ушей. Обыкновенный здравый смысл, как и высшая человеческая мудрость (в конце концов между здравым смыслом и мудростью принципиальной разницы нет), равно советуют ему бросить мечту о невозможном и добиваться возможного: вдова богатого пивовара для «его самая поводящая партия. Но юноша, точно его что-то ужалило, забывает и здравый смысл, и божественного Платона, и вдруг, совсем как Авраам, бросается в объятия Абсурда. Разум отказался дать ему царскую дочь, которую он предназначил, не для него, а для царского сына и юноша отворачивается от разума и пытается счастье у Абсурда. Он превосходно знает, что в обыденной повседневной жизни царит глубочайшая уверенность, что царская дочь никогда ему не достанется. «Ибо, — пишет Киркегард, — разум прав: в нашей долине скорби, где он является господином и хозяином, это было и останется невозможностью». О знает также, что дарованная богами людям мудрость рекомендует в таких случаях, как единственный выход из создавшегося положения, спокойную покорность неизбежному. И он даже проходит через эту покорность — в том смысле, что дает себе со всей ясностью, на какую способна человеческая душа, отчет в действительном. Иному, — поясняет Киркегард, — пожалуй представится более соблазнительным убить в себе желание обладать царской дочерью, обломать, так сказать, острие скорби. Такого человека

*Окончание. Начало в предыдущем номере.

Киркегард называет рыцарем покорности и находит даже слова сочувствия по его адресу. И все же, заявляет он, «чудесно обладать царской дочерью, и рыцарь покорности, если он это отрицает, лжец», и его любовь не была настоящей любовью. Рыцарю покорности Киркегард противопоставляет рыцаря веры. «Через веру, говорит этот рыцарь себе, через веру ты получишь царскую дочь». И еще раз повторяет: «все же, как чудесно получить царскую дочь». Рыцарь веры единственно счастливый: он господствует над конечным, в то время как рыцарь покорности здесь только пришелец и чужак. Но тут же он признается: «и все же на это дерзновенное (движение) я неспособен. Когда я пытаюсь проделать его — голова у меня идет кругом, и я тороплюсь укрыться в скорбь покорности. Я могу плавать, но для этого мистического парения я слишком тяжеловесен». А в дневниках его мы читаем: «если бы у меня была вера, Регина Ольсен осталась бы моей». Почему же человек, который так страстно, так безумно рвется к вере, не может ее обрести? Отчего не может он пойти за Авраамом и бедным юношей, полюбившим царскую дочь? Отчего он отяжелел и не способен к парению? Отчего на его долю выпала покорность, и ему отказано в последнем дерзании? Это нас подводит к учению Киркегарда о первородном грехе и о грехе вообще, которое у него теснейшим образом связано с его пониманием библейской веры. Для Киркегарда «понятие противоположное греху есть не добродетель, а свобода» и вместе с тем «понятие противоположное греху — есть вера». Вера, только вера освобождает от греха человека. Вера, только вера может вырвать человека из власти необходимых истин, которые овладели его сознанием после того как он отведал плодов с запретного дерева. И только вера дает человеку мужество и силы, чтоб глядеть прямо в глаза безумию и смерти и не склоняться безвольно пред ними. «Представьте себе,— пишет Киркегард,— человека, который со всем напряжением испуганной фантазии вообразил себе нечто неслыханно ужасное, такое ужасное, что вынести его совершенно невозможно. И вдруг это действительно встретилось на его пути, стало его действительностью. По человеческому разумению, гибель его неизбежна... Но для Бога все возможно. В этом состоит борьба веры: безумная борьба о возможности. Ибо только возможность открывает путь к спасению. В последнем счете остается одно: для Бога все возможно... И только тогда открывается дорога вере. Верят только тогда, когда человек не может уже открыть никакой возможности. Бог значит, что все возможно, и что все возможно, значит Бог. И только тот, чье существо так потрясено, что он становится духом и постигает, что все возможно, только тот подошел к Богу». И в дневнике Киркегарда 1848 года мы читаем замечательную запись: «Для Бога все возможно: эта мысль есть мой лозунг в глубочайшем смысле этого слова и приобрела для меня значение большее, чем я мог сам когда нибудь думать. Ни на минуту я не позволю себе дерзновенно воображать, что раз я не вижу никакого выхода, то и для Бога выхода нет. Ибо свою жалкую фантазию и все прочее в таком роде смешивать с возможностями, которыми располагает Бог, есть гордыня и отчаяние». Вы видите, как далек Киркегард от того представления о вере, какое имеет большинство людей. Вера не есть доверие к тому, что нам внушают родители, старшие, наставники, вера есть огромная, рождающаяся в глубинах человеческого духа сила, готовая и способная вступить в борьбу даже тогда, когда все говорит нам, что борьба заранее обречена на неудачу. Киркегарда, конечно, вдохновляет великое евангельское обетование: если у вас будет вера с горчичное зерно... для вас не будет ничего невозможного. И он, вспоминая слова пророков и апостолов о том, что мудрость человеческая есть безумие перед Господом, решает на великую и последнюю борьбу — борьбу с человеческим разумом, поскольку разум хочет быть единственным и окончательным источником истины. Оттого он, как я уже говорил, отвернулся от Гегеля и греческой философии и пошел за истиной к невежественному Иову и невежественному Аврааму. И с каждой новой книгой он все страстнее и безудержнее нападает на разум. Ссылаясь на послание к Рим. (XIV.23), он пишет: «все, что не от веры — есть грех. В этом один из основных принципов христианства: понятие противоположное греху есть не добродетель, а вера». Киркегард это неустанно повторяет, равно как он повторяет, что, чтоб приобрести веру, нужно отречься от разума. В последних своих произведениях он выражается следующим образом: «вера — противоположна разуму, вера живет по ту сторону смерти». Но что такое вера, о которой рассказано в Писании? Ответ Киркегарда: «вера значит именно это: потерять разум, чтоб обрести Бога». Еще раньше в связи с Авраамом и его жертвой Киркегард писал: «какой невероятный парадокс — вера! Парадокс может

превратить убийство в святое, угодное Богу дело. Парадокс возвращает Аврааму его Исаака. Парадокс, которым (обычное) мышление не может овладеть, ибо вера именно там и начинается, где (обычное) мышление кончается». Отчего кончается? Потому что для обычного мышления тут начинается область невозможного: невозможно, чтоб сыноубийство было угодным Богу делом, невозможно, чтоб кто-либо (хотя бы и сам Бог) вернул к жизни убитого Исаака. Но Киркегард обо всем этом думает иначе. «Отсутствие возможности,— пишет он,— обозначает, что либо все стало необходимым, либо что все стало обыденным. Обыденность, тривиальность, не знает, что такое возможность. Обыденность допускает только вероятность, в которой сохранились лишь крохи возможности, но что все это (т. е. невероятное и возможное) возможно, ей и на ум не приходит, и она не помышляет о Боге. Обыденный человек (будет ли он кабатчиком или министром) лишен фантазии и живет в сфере ограниченного банального опыта: как вообще бывает, что вообще возможно, что всегда было... Обыденность вообразила, что она изловила возможность или засадила ее в сумасшедший дом»... Причем под обыденностью не следует разумеать пивовара и философию пивовара: обыденность везде, где человек еще полагается на свои силы, на свой разум (Гегель и Аристотель, при несомненной гениальности их, не выходят за пределы обыденности), и кончается лишь там, где начинается отчаяние, где разум показывает со всей очевидностью, что человек стоит перед невозможным, что все для него кончено и навсегда, что всякая дальнейшая борьба бессмысленна, т. е. там и тогда, когда человек испытывает свое полное бессилие. Киркегарду, как никому, пришлось до дна испить ту горечь, которую приносит человеку сознание своего бессилия. Когда он говорит, что какая-то страшная власть отняла у него честь и его гордость, он имеет в виду свое бессилие. Бессилие, которое привело к тому, что когда он прикасался к любимой женщине, она превращалась в тень. Бессилие, которое привело к тому, что все действительное для него превращалось в тень. Как это случилось? Что это за страшная власть, власть, которой дано так опустошить человеческую душу? В дневник свой он заносит — и не раз, а несколько раз: «если бы у меня была вера, я не ушел бы от Регины Ольсен». Это уже не прямое высказывание, вроде тех, которые он делал от имени героев своих повествований — это уже непосредственное свидетельство человека о самом себе. Киркегард испытал отсутствие веры как бессилие и бессилие как отсутствие веры. И в этом страшном опыте узнал то, чего большинство людей даже и не подозревает: отсутствие веры есть выражение бессилия человека, и бессилие человека выражается отсутствием веры. Это объясняет нам его слова о том, что «противоположное понятие греху — не добродетель, а вера». Добродетель — мы уже слышали это от него — держится собственными силами человека: рыцарь покорности сам добывает, что ему нужно и, добывши, находит душевный мир и упокоение. Но освобождается ли таким образом человек? Все, что не от веры, есть грех, вспоминает Киркегард загадочные слова апостола. Стало быть, мир и спокойствие рыцаря покорности есть грех? Стало быть, Сократ, принявший так спокойно, на удивление его учеников и всех последующих поколений людей, из рук тюремщика чашу с ядом, был грешником? Лучший, мудрейший из людей удовлетворялся положением рыцаря покорности, принял свое бессилие перед необходимостью как неизбежное, а потому и нравственно обязательное, и за несколько часов до смерти поддерживал назидательными речами мир и спокойствие в душах учеников своих. Можно ли идти, спрашивает Киркегард, дальше Сократа? Через много сотен лет после Сократа знаменитый стоик Эпиктет, верный духу своего несравненного учителя, писал, что начало философии есть сознание бессилия перед Необходимостью. Для Эпиктета, как и для Сократа, это сознание есть вместе с тем и конец философии или, точнее, философская мысль всецело определяется убеждением человека в его абсолютном бессилии перед царствующей в мире необходимостью.

Сократовская добродетель не спасает человека от греха. Добродетельный человек есть рыцарь покорности. Он испытал весь позор и ужас, которые связаны с бессилием, и на этом остановился. Дальше двинуться он не может. Дальше идти некуда и нельзя. Почему он остановился? Откуда пришли эти некуда и нельзя? Их, отвечает Киркегард, принес человеку его разум, источник всего нашего сознания и всей нашей морали. Но не находится ли сам разум когда он воображает, что он является единственным источником истины и морали во власти какой-то враждебной силы, так заворожившей его, что случайное и преходящее представляется ему непреодолимым и вечным? И этика, внушающая человеку,

что покорность судьбе есть высшая добродетель, не находится ли она в таком же положении, как и разум? И она заморожена таинственными чарами: там, где она сулит человеку блаженство и спасение, его ждет гибель. Это и есть парадокс, это и есть Абсурд, который был скрыт от Сократа, но который открыт в Св. Писании — в повествовании книги Бытия о дереве познания добра и зла и падении первого человека.

V

Грехопадение, которому посвящена Киркегардом одна из наиболее замечательных книг его—«Что такое страх?»,—тревожило человеческую мысль с самых отдаленных времен. Все люди чувствовали, что в мире не все благополучно, и даже очень неблагоприятно, и делали огромные и напряженнейшие усилия, чтобы выяснить, откуда пришло это неблагоприятие. И нужно сказать, что греческая философия, равно как и философия других народов, не исключая народов дальнего востока, на поставленный так вопрос давала ответ прямо противоположный тому, который мы находим в повествовании книги Бытия. Один из первых великих греческих философов, Анаксимандр, в сохранившемся после него отрывке говорит: «откуда пришло отдельным существам их рождение, оттуда по необходимости приходит к ним и гибель. В установленное время они несут наказание и получают возмездие друг от друга за свое нечестие». Эта мысль Анаксимандра проходит через всю древнюю философию: появление единичных вещей, главным образом, конечно, живых существ и по преимуществу людей, рассматривается как преступное, нечестивое дерзновение, справедливым возмездием за которое является смерть и уничтожение. Идея о том, что рождение неизбежно влечет за собой уничтожение, есть исходный пункт античной и всей европейской философии — она же, повторю, неотвязно стояла пред основателями религий и философии дальнего востока. Естественная мысль человека во все времена и у всех народов безвольно, точно заколдованная, останавливалась пред роковой Необходимостью, занесшей в мир страшный закон о смерти, неразрывно связанной с рождением всего, что появилось и появляется. В самом существовании человека разум открыл что-то недолжное — порок, болезнь, грех и, соответственно этому, мудрость требовала преодоления в корне этого греха, т. е. отречения от бытия, которое, как имеющее начало, осуждено предвечным законом на неизбежный конец. Греческий катарсис, т. е. нравственное очищение — имеет своим источником убеждение, что непосредственные данные сознания, свидетельствующие о неизбежной гибели всего рождающегося, открывают нам всемирную, вечную, неизменную и навсегда непреодолимую истину. Действительное, настоящее бытие нужно искать не у нас и не для нас, а там, где власть закона о рождении и уничтожении кончается, т. е. там, где нет и не бывает рождения, а потому нет и не бывает уничтожения. Отсюда и пошла умозрительная философия. Открывшийся умному зрению закон о неизбежной гибели всего возникающего и сотворенного представляется нам навеки присущим всему бытию: греческая философия в этом была так же непоколебимо убеждена, как и мудрость индусов, и мы, которых отделяют от греков и индусов тысячелетия, так же неспособны вырваться из власти этой самоочевиднейшей истины, как и те, которые впервые ее обнаружили и нам показали.

Только книга книг, т. е. Библия, в этом отношении составляет загадочное исключение. В ней рассказывается прямо противоположное тому, что люди усмотрели своим умным зрением. Все было создано, читаем мы в самом начале книге Бытия, Творцом, все имело начало. Но это не только не рассматривается как условие ущербности, недостаточности, порочности и греховности бытия, но в этом залог всего, что может быть хорошего в мироздании. Иначе говоря, творческий акт Бога есть источник, и притом единственный, всего хорошего. Вечером каждого дня творения Господь, оглядываясь на сотворенное Им, говорил: «добро зело», а в последний день, оглядев все, Им созданное, увидел Бог, что все добро зело. И мир и люди (которых Бог благословил), соданные Творцом и потому именно, что они были Им созданы, были совершенными и не имели никаких недостатков: зла в сотворенном мире не было, не было и греха, от которого зло началось. Зло и грех пришли после. Откуда? И на этот вопрос Писание дает определенный ответ. Бог насадил в эдемском саду, среди прочих деревьев, дерево жизни и дерево познания добра и зла. И сказал первому человеку: плоды от всех деревьев можете есть, но плодов от дерева познания не ка-

сайтесь, ибо в тот день, когда коснетесь их, смертью умрете. Но искушитель - в Библии он назван змеем, который был хитрее всех созданных Богом зверей,— сказал: «нет, не умрете но откроются глаза ваши, и вы будете, как боги, знающими». Человек поддался искушению] вкусил от запретных плодов, глаза его открылись, и он стал знающим. Что ему открылось? Что он узнал? Открылось ему то, что открылось греческим философам и индусским мудрецам: божественное «добро зело» не оправдало себя, в сотворенном мире не все добро, в сотворенном мире — и именно потому, что он сотворен — не может не быть зла и притом много зла и зла нестерпимого. Об этом свидетельствует нам с непрекаемой очевидностью наш разум и все, что нас окружает — «непосредственные данные сознания»; и тот, кто смотрит на мир с открытыми глазами, тот, кто «знает», иначе об этом судить не может. С того момента, когда человек стал знающим, иначе говоря, вместе со знанием и через знание, вошел в мир грех, а за грехом зло и все ужасы нашей жизни. Так по Библии. Пред нами, людьми 20-го столетия, вопрос стоит так же, как он стоял пред древними: откуда грех, откуда все ужасы жизни? Есть ли порок в самом бытии, которое, как сотворенное, как имеющее начало, неизбежно, в силу предвечного, ничего и никому (даже Богу) неподвластного закона, должно быть обременено несовершенствами, вперед обрекающими его на гибель, или грех и зло в «знании», в открытых глазах, в «умном зрении», т. е. от плодов с запретного дерева? Гегель, впитавший в себя всю европейскую мысль за 25 веков ее существования, без всякого колебания утверждает: * змей не обманул человека, плоды с дерева познания стали источником философии для всех будущих времен. И нужно сказать: исторически Гегель прав. Плоды с дерева познания, действительно, стали источником философии, источником мышления для всех будущих времен. Философы — причем не только языческие, но философы еврейские и христианские, опиравшиеся на Библию и считавшие Библию боговдохновенной книгой,— все хотели быть знающими и ни за что не соглашались отречься от плодов с запретного дерева. Грех не пришел от плодов с дерева познания: от познания не может придти ничего дурного. Откуда у людей такая уверенность, что от знания не могло придти зло? Такого вопроса никто не ставит. Никому и на ум не приходит, что истину можно искать и найти в Писании. Истину нужно искать только в собственном разуме — и только то, что разум признает истиной, есть истина. Не змей, а Бог обманул человека. Киркегард жил в эпоху, когда Гегель был властителем дум в Европе. И он, конечно, не мог не чувствовать себя всецело во власти гегелевской философии. Гегель, повторяя то, чему двадцать пять веков учила философия, возвестил, что все действительно разумно, иными словами, что все ужасы действительности должны быть приняты и одобрены человеком. Но когда Киркегарду по воле судьбы пришлось с этими ужасами столкнуться, испытать их, он понял глубину и потрясающий смысл библейского повествования о падении первого человека. Веру, определяющую отношение твари к Творцу и знаменовавшую собой ничем не ограниченную свободу и беспредельные возможности, люди променяли на знание, на рабскую зависимость от мертвых и мертвящих вечных принципов. Знание не привело человека к свободе, как то провозглашает умозрительная философия, знание закрепило нас, отдало на поток и разграбление вечным истинам. Но как это произошло? Как мог невинный человек соблазниться плодами с дерева познания добра и зла и поверить искусителю, обещавшему ему, что, вкусив от запретных плодов, он «сравняется с Богом»? В своей книге «Что такое страх?» Киркегард, подходя к вопросу о падении невинного человека, пишет: «в состоянии невинности мир и спокойствие, но вместе с тем есть что-то иное: не смятение, не борьба — ведь бороться-то не из-за чего. Но что же это такое? Ничто. Какое действие имеет Ничто? Оно пробуждает страх. В этом и заключается тайма невинности, что она есть в то же время и страх». Что же такое этот страх перед Ничто? И тут опыт Киркегарда, прорывающийся через все запрещения, налагаемые на нашу мысль разумом и моралью, открывает нам поразительные вещи: «Страх этот,- рассказывает он,- можно сравнить с головокружением. Кто принужден заглянуть в раскрывшуюся пред ним бездну, у того кружится голова. И страх (невинного человека) есть головокружение свободы. От этого головокружения свобода валится на землю. Дальше этого психология уже не может ничего сказать. Но в этот момент все меняется, и когда свобода вновь поднимается, она видит, что она виновата... Страх есть обморок свободы. Психологически говоря, грехопадение всегда происходит в обмороке». Киркегард с напряженной сосредоточенностью поглощен рассмотрением открывающегося ему Ничто и связи Ничто со страхом. «Если

мы спросим,— пишет он в другом месте той же книги,— что является предметом страха, то ответ будет один: Ничто. Страх и Ничто всегда сопутствуют друг другу. Но как только вступает в свои права реальность свободы и духа, Страх исчезает. Что, собственно, есть Ничто в стране язычников? Оно есть Рок... Рок есть единство Необходимости и Случайности. Это получило свое выражение в том, что судьба представляется слепой; кто слепо идет вперед, тот продвигается в такой же степени необходимо, как и случайно. Необходимость, которая себя не осознает, является по отношению к ближайшему моменту случайностью. Рок есть Ничто Страха». Самый гениальный человек, объясняет дальше Киркегард, не в состоянии своими силами преодолеть идею Рока. Наоборот, говорит он: «гений повсюду открывает судьбу, и тем глубже, чем он более глубок... В том именно и сказывается природная мощь гения, что он открывает рок, но в этом и его бессилие». И он заключает свои размышления такими вызывающими словами: «такое гениальное существование, несмотря на свой блеск, красоту и огромное историческое значение, есть грех. Нужно мужество, чтоб понять это, и кто не научился искусству утешать голод тоскующей души, тот едва ли поймет это. И все-таки — это так».

Киркегард на все лады варьирует высказанные в приведенных сейчас отрывках мысли, которые кульминируют в его утверждении, что страх перед Ничто приводит к обмороку свободы, что утративший свободу человек обессилевает и в своем бессилии принимает Рок за всемогущую необходимость и тем более убеждает в этом, чем пронизательнее его ум и чем могущественнее его дарование. Киркегард целиком принимает библейское сказание о падении первого человека. Гений, величайший гений, пред которым все преклоняются и которого все считают благодетелем человеческого рода, которого ждет бессмертная слава в потомстве, именно потому, что он гений, что он доверяется всецело своему разуму, что он своим зорким и недремлющим оком проникает в последние глубины существующего,— есть величайший грешник, грешник *par excellence* **. Сократ в тот момент, когда он открыл в мире всеобщие и необходимые истины, являющиеся и донныне условием возможности объективного знания, Сократ вновь повторил преступление Адама. Он вкусил от плодов познания, и пустое Ничто обернулось для него в Необходимость, превращающую, как голова Медузы, всякого, кто взглянет на нее, в камень. И он даже не подозревает значения того, что он делает, как не подозревал и наш праотец, когда он принял из рук Евы столь соблазнительные на вид плоды. В произнесенных искусителем словах «будете, как боги, знающие добро и зло» таилась казавшаяся непреодолимой сила Ничто, парализовавшая свободную до того волю человека. Киркегард это еще формулирует в таких словах: «для Бога все возможно. Сказать Бог, значит сказать, что все возможно. Для фаталиста - все Необходимо. Необходимость есть его Бог: это значит, что нет Бога». Киркегард отверг греческую идею о власти Необходимости, принесенной в мир разумом. В этом и смысл его слов: «чтоб обрести Бога, нужно отречься от разума». Он отверг и греческую идею о том, что этическое — есть высшее, равно как и их уверенность, что свобода есть возможность выбора между добром и злом. Такая свобода есть возможность выбора между добром и злом. Такая свобода есть свобода падшего человека — есть рабство. Истинная свобода — есть возможность. Возможность спасения там, где наш разум говорит, что все возможности кончились. И только вера, одна вера дает человеку силы и смелость взглянуть в лицо безумию и смерти. Умозрительная философия покоряется неизбежному, экзистенциальная его преодолевает, для экзистенциальной философии необходимость превращается в немощное Ничто. В этом убеждении источник учения Киркегарда. Ибо, если над необходимостью, как ее понимали греки, никто не властен, то над грехом, совершенным человеком, властен Бог. «Бог послал в мир своего единственного сына,— учит Лютер,— возложил на него все грехи, говоря: ты — Петр, тот, который отрекся, ты — Павел, насильник и богохульник, ты - Давид прелюбодей, ты — грешник, съевший яблоко в раю». Разум — этого постичь не может, наша этика этим возмущается. Но Бог выше этики и выше нашего разума. Он берет на себя наши грехи и уничтожает ужасы жизни.

** В высшей степени (франц.).— *Ред.*